

Двенадцать открыток в сепии

Фрагмент эссе «Трофейное» (1986)

Носиф Бродский

Где-то в начале шестидесятых, когда принцип романтической недосказанности, воплощенной в поясе и подвязках, стал потихоньку сдавать позиции, все больше и больше обрекая нас на ограниченность колготок с их однозначным или-или, когда иностранцы, привлеченные недорого, но весьма сильным ароматом рабства, начали прибывать в Россию крупными партиями и когда мой приятель с чуть презрительной улыбкой на губах заметил, что географию, вероятно, может скомпрометировать только история, девушка, за которой я тогда ухаживал, подарила мне на день рождения книжку-гармошку из открыток с видами Венеции.

Она сказала, что книжечка эта когда-то принадлежала ее бабушке, которая незадолго до первой мировой войны проводила медовый месяц в Италии. Там было двенадцать открыток в сепии, отпечатанных на плохой желтоватой бумаге. Подарила она мне их потому, что как раз в это время я весьма носился с двумя романами Анри де Ренье, незадолго до того прочитанными; в обоих дело происходило в Венеции, зимой; и я говорил только о Венеции.

Из-за того, что плохо отпечатанные открытки были с коричневым налетом, из-за широты, на которой стоит Венеция, и из-за того, что в ней мало деревьев, трудно было определить, какое время года на них изображено. Одежда тоже мало помогала, поскольку люди были одеты в длинные юбки, фетровые шляпы, цилиндров или котелки и темные пиджаки — моды начала века. От-

Заголовок дан редакцией. Полностью эссе публикуется в январском номере журнала «Иностранная литература».

С жемчугом на языке

Анатолий Найман

Он вызывал восхищение. Все, что он говорил, даже если это была необязательная дружеская болтовня, было ослепительно талантливо. Поступки были так же талантливы, как речь. Пронзительно было его чутье, и наивность, и опыт, и мудрость, отдельная от опыта, и изумление в распахнутых голубых глазах, и чистый-чистый треугольник лба между бровями. Когда он убеждал в чем-нибудь, даже тебе неприятном, ты им любовался. Например, что тебе надо лечь в больницу на ангиографию, в сердце введут катетер, впрыснут контрастную жидкость, всего-то потерпеть минут десять; вот когда кладут в электрический круг и вызывают искусственный инфаркт, тут в самом деле невмоготу. В его описании это выглядело как камера пыток, в последние годы он проходил через это раза три-четыре, но рассказ был захватывающий, зачаровывал. Такая же притягательность была в том, как он в 18 лет ездил по Ленинграду на велосипеде, в 24 поднимал на вилы силосную массу в деревне Норинская, в 25 рыл для Ахматовой атомное бомбоубежище в Комарове; и так же после сорока помогал малознакомым иногда людям — деньгами, устройством их дел.

Так же — немисливо талантливо, с немислимой энергией — писал он стихи. Если нобелевские премии по поэзии дают за то, что поэт для поэзии делает, то ему следовало бы давать их каждые два-три года. Он посвящал ей всю свою жизнь — не только собственной, но и поэзии других, вообще поэзии, на которую у него тем больше оставалось сил, чем больше он на собственную тратил. Это было как быющий ключ, из которого чем больше берешь, тем он обильнее. Кастальский ключ.

Он умер, и за час, прошедший с первого ошеломляющего звонка из Нью-Йорка, его фигура для меня, так близко знавшего его еще чуть не сорок лет назад, выросла неузнаваемо. Сколько он, оказывается, вмещал в себя всего, в частности, наших мыслей, нас, в частности, и меня. Пока он был жив, это пряталось за обыденностью встреч, прогулок, застолий. Мне все кажется, что жизнь его была ужасно короткой: вот он рыжий, румяный, юный; вот ему двадцать пять, день рождения, и он выходит из бревенчатой коношской тюрьмы с двумя белыми ведрами, на одном написано «Хлеб», на другом «Вода»; вот после освобождения... Вот он тридцати двух лет исчезает — с глаз, из России, из здешней жизни — первые, так сказать, похороны, репетиция смерти. И вот, сорока восьми, снова появляется, открывая мне дверь в подвал на Мортон-стрит. Чтобы что-то, стало быть, досказать.

В шестьдесят каком-то году в беглых заметках я сопоставил его имя с именем Пушкина. Заметки попали на Запад и стали предисловием к «Остановке в пустыне», первой им самим собранной книге его стихов. По поводу сопоставления я выслушал немало нареканий от друзей и ругани от не-друзей. Через много лет в Нью-Йорке ко мне подошел издатель этой книги, и он сказал, что тоже был тогда смущен, — «но вот видите: победителей не судят». Под победой он подразумевал прежде всего Нобелевскую премию. Я же поставил два имени рядом не потому, что сравнивал их, — кого с Пушкиным сравнивать! — и не масштаб и не характер дара имел в виду, а одно только качество, о котором сказал в начале: изобилие, избыток таланта и щедрость, с которой он тратился. Те давние, во многом угаданные замечания, изданные во времена, когда под ними нельзя было даже по-человечески подписаться, заслужили мне право повторить сейчас слова, произнесенные назавтра после смерти Пушкина: «Солнце нашей поэзии закатилось».

Нашей всей — и нашей, когда-то тесного круга, нескольких молодых поэтов, даром, непонятно за что, получивших счастье запросто принимать его великолепную дружбу.

Я знал четырех поэтов...

существование цвета и общий мрак изображенного подводили к заключению, которое меня устраивало: что это — зима, единственное подлинное время года.

Другими словами, их фактура и меланхолия, столь знакомые мне по родному городу, делали фотографии более понятными, более реальными; рассматривание их вызывало нечто похожее на ощущение, возникшее при чтении писем от родных. И я их «читал» и «перечитывал». И чем больше я их читал, тем очевидней становилось, что они были именно тем, что слово «Запад» для меня значило: идеальный город у зимнего моря, колонны, аркады, узкие переулочки, холодные мраморные лестницы, шелущающаяся штукатурка, обнажающая кирпично-красную плоть, замазка, херувимы с закатившимися запятыми зрачками — цивилизация, приоткрывшаяся к наступлению холодных времен.

И, глядя на эти открытки, я поклялся себе, что, если я когда-нибудь выберусь из родных пределов, я отправлюсь зимой в Венецию, сниму комнату в подвальном помещении, с окнами вровень с водой, сяду, сочиню две-три элегии, гася сигареты о влажный пол, чтобы они шипели, а когда деньги иссякнут, приобрету не обратный билет, а дешевый браунинг — и пушу себе там же в лоб пулю. Декадентская, ясное дело, греха (но если в двадцать лет вы не декадент, то — когда?). И все же я благодарен Паркам, давшим мне осуществить ее лучшую часть. Споры нет: история весьма энергично компрометирует географию. Единственный способ борьбы с этим — стать отщепенцем, кочевником, тенью, скользящей по кружеву фарфоровой колоннады, отраженной в хрустальной воде.

Авторизованный перевод
с английского
А. СУМЕРКИНА

Сегодня. - 1996. - 30 янв. - с. 5.



ЗА РЕКОЙ

Я знал четырех поэтов.
Я их любил до дрожи
губ, языка, гортани,
я задерживал вздох,
едва только чуял где-то
чистое их дыхание.
Как я любил их, божье,
каждого из четырех!

Первый, со взором Лея,
в нимбе дождя и хмеля,
готический сводов и шпилей
видел в полете пчел,
лебедя — в зеве котельной,
ангела — в солнечной пыли,
в браке зари и розы
несколько букв прочел.

Другой, как ворон, был черен,
как уличный воздух, волен,
как кровью, был полон речью,
нахохлен и неуклюж,
серебряной был картечью
с заброшенных колоколен,
и френч его отражался
в ртутных бульварных луж.

Третий был в шаге легком,
в слоге противу логики
летуч, подледную музыку
озвучивал наперед
горлом — стройней свирели,
мыслью — пружинней рыбы,
в прыжке за золотом ряби
в кровь разбивающей рот.

Был нежен и щедр последний,
как зелень после потопы,
он сам становился песней,
когда по ночной реке
пускал сиявший кораблик
и, в воду входя ночную,
выныривал из захлеба
с жемчугом на языке.

Оркестр не звучней рояля,
рояль не звучней гитары,
гитара не звонче птицы,
поэта не лучше поэты.
Из четырех любому
мне сладко вернуть любовь
то, что любил в начале.
То, чего в слове нет.

Декабрь 1994 года